

ДОРОФЕЕВ

Владислав Дорофеев

Поколение судьбы

«Автор»

Дорофеев В. Ю.

Поколение судьбы / В. Ю. Дорофеев — «Автор»,

В книгу стихов Владислава Дорофеева «Поколение судьбы» вошли стихи с 1982 по 1996 гг. «Первая молитва поэта», «Автобиографическое», «Эпитафия», «Минувшее», «Лабиринты» и др., также поэмы «Дубравы», «Метро-поэзия», «Городские дачи», «Война», и опера «Саломея».

© Дорофеев В. Ю.

© Автор

Владислав Дорофеев

Поколение судьбы

Книга стихов

моим детям посвящается

Среди всего прочего...

Я бы попросил написать предисловие к моей книге стихов – святителя Илариона (11 век) или губернатора Державина (18 в.), дипломата Тютчева или помещика Фета (19 в.), учителя Анненского или офицера Гумилева, эмигранта Иванова, философа Хлебникова или литератора Тарковского (20 в.), но они не могут. Поэтому предисловие к своей книге стихов «Поколение судьбы» я написал сам. Смысл этого предисловия – возблагодарить, воздать, возгласить.

Перед вами не литературоведческая статья и не манифест, которые потребовали бы от меня более подробной аргументации, и более детального и обстоятельного изложения личной позиции – профессиональной и мировоззренческой. Это – именно предисловие к книге стихов «Поколение судьбы», что позволяет мне схематично, но и вполне ясно и твердо определить ее назначение – утверждение Бога в русской словесности и русской жизни.

Книга моя ни из кого не вышла. Она сама по себе. Но ее появление, ее назначение и цель определены русской поэтической традицией поиска и обретения Бога, берущей начало в 11 веке, развитой в 13–14 вв., обретшей новое, светское измерение в 18 в., и, несмотря на бытовую и мировоззренческий отказ от Бога в 19–20 вв., благополучно возобновленной поэтическим поколением в 70–80 гг. 20 в. (прежде всего это – Еременко, Жданов, Парщиков, чуть раньше Соснора и Рубцов). Роль и место означенного поколения в русской изящной словесности – это роль жертвенного агнца, приготовленного историей на заклание, легшего костьми, пролившего жертвенную кровь безвременья. Поэтика этого поколения – уже не советская, но еще не русская. Очень скоро его представители уйдут, провалятся в щель между эпохами. Но главное, что они успели сделать (чаще неосознанно, что, впрочем, не умаляет достигнутого результата), – они вернули в русскую поэзию сакральность (благополучно сохраненную Мандельштамом и Пастернаком и природой русского языка), чем и помогли последующему поэтическому поколению преодолеть страсть к губительной и жуткой свободе не только от библейских заповедей, но и от стилистических, эстетических, этических, концептуальных и мировоззренческих непреложных законов, запретов и закономерностей, действующих в жизни, культуре, языке, профессии.

В роли проповедников этой губительной свободы побывали в разные времена многие, слишком многие, – Барков и ранний Пушкин, поздний Лермонтов и Веневитинов, Некрасов, Надсон и Кузьмин, Бальмонт, Брюсов, Блок, Северянин, Волошин, Есенин и Маяковский, Твардовский, Межиров, Евтушенко, Бродский и др. – кто намеренно, кто из хвастовства, самонадеянности, глупости, часто от недообразования. Врожденное благородство и размер таланта (единый на всех размер букв и их состав в слове «талант» – это всего лишь отголосок примитивной уравниловки формы, но не выпрессанной монархичности содержания) чаще всего удерживали названных и др. поэтов в стороне от откровенного богохульства, но увы! неосознанно (в разной степени осознания) они наследовали (в разной степени адекватности) и реализовывали (с разной степенью активности) богоборческие идеи, идеи, провозглашающие самоценность и свободу человека от Бога.

История богоборческих идей, освобождающих человека от Бога, не столь далека, в означенной форме эти идеи сформированы итальянскими возрожденцами в 14–15 вв., развиты

европейскими реформаторами в 16–17 вв., усилены французскими просветителями в 18 в., идеологизированы немецкими романтиками и философами на переломе 18–19 вв., деэстетизированы русскими народолюбцами и еврейскими революционерами на переломе 19–20 вв., деэстетизированы советскими большевиками в первой половине 20 в., обрели очертания новой утопии – борьбы за права человека – усилиями западных неоязычников к концу 20 в. На переломе 20–21 вв. Россию богоборческие идеи не покинули, превратившись из обязательной идеологической и моральной нормы в интеллектуальную моду, как это уже и происходило на переломе 19–20 вв., – тогда, правда, исходник был противоположного знака.

И все же, сейчас, – на переходе двух веков и двух тысячелетий, – в русскую словесность вернулась потребность в Боге. Началась работа по возвращению Бога. И работа по утверждению Бога в русской поэзии. В 1999 г. в этой связи вышла книга стихов «Сочинения» Юрия Макусинского. В 2000 г. в рамках этой же задачи выходит моя книга стихов «Поколение судьбы».

Предстоит сделать еще очень многое и многим, чтобы от просто потребности перейти к собственно восстановлению православной культурной традиции и возвращению в русскую поэзию профессиональных принципов языковой работы, ремесленных стандартов, этических норм и ограничений, эстетических требований, мировоззренческих задач и бытийных смыслов и целей, выстроенных уже в координатах божественного мироустройства.

А уже в возрожденной системе координат естественным образом произойдет (и происходит!) переосмысление всего русского поэтического процесса и портретного ряда. Потому как пора перелистнуть эпоху русского безбожия, чтобы идти дальше. И в изящной словесности.

владислав дорофеев

* * *

Я иду по откосу мира,
и бытие мое беспечно и единственно,
хотел бы вдохнуть из себя в сферы иные,
хотя они концептуальны и легки,
идеалистичны.

1982.

Первая молитва поэта

Потому что пир начинается в Лувре,
а в автобусе сенная девушка повернута задом —
на кармане эмблема сложного сооружения моста Бруклина,
взгляд растощается, отступая, просыпается матом,
сонный вид транспорта, уборная не бредит,
телевизор не спит – перед носом ублюдка коричневый сплин,
в дверь стучат, по традиции дрожь забавляет их,
звонок передергивает, в глазок врывается слащавый псих,
в карманах руки беспощадно тихи, кричи, не кричи —
брех на улице перезвонит колоколами, как велят все палачи,
мания врывается в жизнь или сонную артерию калачом,

придется горевать под чужим окном;
спишь, не спишь —
палашом
твой очерчен круг,
скалься, бойся себя и следы завали
отступлением в чистую нежить
и, чтоб никто —
не упыри,
не друзья со стены,
не подобрели к тебе,
выщелучи, черни
на силу – пусть – себя,
вой ли, рви в клочья лица черни
и не доверяйся, не улыбнись.
Степь расхитри,
полк создавая,
не забудь про великую женщину,
ждушую тебя у прилавка, незаметную, ты ее оботри и
на случай припрячь,
если проснешься в лагере меньшин.
Видишь ублюдок, я странствую в мыслях,
к чёрту весь твой рассудок,
блеф свой зарой к мертвым.
Клацают летом тяжелые двери,
падаль летает под
твердую пылью,
ветхий июль раскончается сонной неделей,
с Бруклина в воду живую карета впадает;
под моста —
жмурная глубина вокруг его быков.
Рыбки
карамелью пластаются за наживу,
зад вытаращив, рыбаки тащат себя —
стон из моей груди.

1981.

Автобиографическое

«Спаситель был воды обычной».
(Д. Томас)

Макусинскому

Тела слезы защищены корою,
сонеты взроют уголь черный,
из шахты лезет крест шахтерский,

коррида из досок – заваленный забой.

На дне стакана капля забодала каплю,
от потолка, стена, сваливались тени,
в углу, от паха до диагонали, серый веник —
сторонник пыли, медью куделька напоминает саклю.

Ты созерцаешь тень и негу мая,
редуктор с колесом сразятся под дождем,
и на крыльцо из сеней рая
слегка поддатая войдет, не я, не под зонтом.

С реки тянуло холодом и крахом,
от дома к шалашу удобная тропа,
я наступаю в одиночестве на позвонки отца,
и пистолет заплакал черепахой.

Тогда дожди висели над порогом,
обрыв с откоса падал перед домом,
калитка возле дерева погибла,
она уже потерянная гибкость.

Молдавия – небесная страна,
там смерть гуляет в шапочку одета,
атмосферическая душная волна
в слепой кишке удавчиком кастета.

Потом Тарзан базуку закатал,
пыль по Крещатику посеял
и, лазая багром, рождение мое затеял
без ложного стыда. Срок Академии настал.

Кулёк прорвался, клоч соломы на полу в конюшне,
рыбак на стул упал, как с неба,
полет над серой синью Феба,
затона косность и бурлак на Сене.

Столбы хромые чугуном не лечат,
и керосин вскипает между лапами земли и сошкой,
полено лопается меж ресниц, калечит
растянуто-телескопическую кошку.

Я вспоминаю так не опосля,
но школа и Уфа стояли рядом,
застукал нас директор, кинул матом,
я убежал, ты бросила меня.

Вечерний час. Реборды нежились усталые,
передник на вагон накинуд месяц вялый,

на лавке спали мы втроем, тащась
в далекую страну Московию на час.

Кавказ на сказку ждет похожий,
петелька серебром залаяла в заре,
красавец Крон пел за забором, обменяв на ножны
корову, после был задушенный в толпе.

Из Грузии бежал, оставил рот ее
скорбеть и плакать на пустом паркете,
так проблеск воли наградил жену дитём.
Горбыль и пузыри – основа для штакетин.

Сибирь – ножами «голода по золоту»,
прорезывая алфавит таблицы,
задергалась грунтом по долоту,
майор нашил не новые петлицы.

Когда бугор поднимется на гору,
когда из зеркала зальют моторы,
уродец под резцом забудет школы свору,
да в памяти, в арену клич притворный: «Торро!»

«Прощай мой дом – роддома образец».
Китайчатые простучали думы.
От кастаньетов с курицей падучая,
да в люльке ленточка земли, как крест!
1981.

* * *

Минаеву

Однотонные девы опустят в пролеты лицо Гамаюна,
засопят и к могилам букеты нарвут в корневищах волос,
забавляются, пачкают тунику с плеч безысходного грума,
сок огня, воскресая, обманом заташат на прежний погост.

Человеческий крик колыбельный по возрасту слаб для растений,
все круги раздвоились фатально и в бронзу вошли на посту
гидра-память клыками лисицы земную равнину засеет,
отторгаясь от пламени чисел, цепями удавят весну.

Ангел храма в груди белорозовым огненным куполом страсти
в перевернутый колос упрячешь назавтра разлуку мою,
одинокчества ранний покой, неизменные желтые страхи
перед ладаном тонкие светят в печальном и мокром краю.

Мастихины дождя возвращают прохожим забытое кредо,
дышит сон в городах, серый странник посеет лозу в небесах,
человечиной пахнет уставшая капля посмертного бреда,
над босхующим мужем пролают с смоковниц в истлевших лесах.

Зонт в уснувшей руке оттеняет нам маски индийские Веды,
чуден облик ребенка из чрева подкожных морей праотца,
отраженный надкостными скулами каменной проданной веры,
в исторический слепок внесенный под пальцами бога Тельца.

Петушинные нас забавляют степного Урала костюмы
скифских кукол с витринного лежбища каменных дур,
в оживающих чреслах увидят заклятие русские кумы,
сквозь прорехи когтями растащат молитвы услышанный хор.

1981.

Эпитафия

Сельянову

Куб площади. Гапон на пьедестале,
Вокруг поллюции да камни,
В скамейке блядь сидит в опале,
Тацит сидит, печалуясь на камни,
Российский, чуткий, честный часовой —
Механик человечества часок,
Забыт инстинкт страны голосовой,
У автомата шуруется курок.
Три цвета женская моя страна
Матросу подарила с парапета,
Глухой маузер сунула, полна
Его душа, но песенка вся спета.
Заплёванный порог, гранитный трон
Мой кобелиный отрезвляют стон.

1981.

Минувшее

Запах роз, запах водки —
над эфесом полощатся в синем дыму.

Вчерашний день.

Утро. Поднимаюсь с постели.
Затем «ЗАГС». Метро. Магазин для новобранцев.
Очередь за ботинками.
Универмаг. Поиски платья. Туалет.
Кафе. Ресторан. Обед.
Она правды не говорит. Не врет. Что же?
Метро. Ваганьковское кладбище.
Ноябрь-апрель: 8-18 ч.
Май-октябрь: 8-20 ч.
Могила Высоцкому. Что же? Кому цветы? Ц.И. И кто цветы?
Вечер. Рисую могилу.
Глаза закрытые певца изображаю на вымпеле статуиные,
каменные.
Надпись через диагональ «СССР». Могила с табличкой и цветами.
Не нужны мертвые цветы. Почему живые? Сорваны.
Фаталист.
Всё влезает в объектив. И могила влезает в объектив.
Дико как-то.
Клад —
бище под
аллеи:
Саврасовская, Есенинская.
Кладбище-лежбище:
Высоцкое-Страховское.
Не могилы, а туалеты. Чему цветы?
Что?!
Не надо нам могил.
Жизнь продолжается. Уметь развлечься, вот учеба.
Гений-рабочий. Гений-поэт.
Разницы нет.
Урна не обман. Тело было.
Теперь другое.
В стену всех. Сжигать всех.
Сжигали людей во время войны. Удобряли поля во время войны.
Пепел прорастал в растения. Корова жутко бежала по полю.
Жрала корова растения. Люди те жрали молоко и корову.
Что?!
Я пью молоко коровы и ем корову.
Т.Е. ем тех, кто насытил травы, которые жрала корова на лугу и
поле.
Себя жрём.
... не станем доедать останки.
ВСЁ! Жрём растения, не жрём корову. Растения растут из земли.
Конец и начало – одинаковое детство.
Мясом мы поедаем ужас предсмертный (и растениями
видимо также).
Все чувствуют нарушение предсмертной чувственной связи.
Начиная есть – начинаем стареть.
Научись не есть, рождаясь.

Не умрёшь, живя.

Я ужасно целовал её и видел
губы стройные свои.

1981.

Синкретизм

Четверткову

Август злился на яблочный Спас и неделю,
у плакатов Рояля продвинулся крепкий народ
признавать, что российские ножи (ничуть не хуже)
могут радовать время своё и господ.

Потерялись в пути фрак, бокал и креститель,
созерцатели сиднем сидели в затронной глуши,
сверху глянешь – под знаменем мститель,
а в числителе – формулы дуг для души.

Короли головою в ладони в двадцатые годы крестились,
в восьмидесятый запасник меняли на тени людей,
абригенов рожая с ножами в спине матерились,
пробедренные кругом, напились из чаши своей.

Пустота между стен, в колеснице билета,
пустоносный вахтер, у копы становясь,
путь укажет резьбой эполета,
вентилятор за кресло поставит, всему поклонясь.

Обнажённые с женским лицом, перед выходом в зал, повалились,
все, не павшие, следом ползли, не снимая вещей,
забывая о зрителе, дети в холсте удавились,
и потом не родились, свисая останками ранних лучей.

Есть цветочек куманка-заманка,
им сзывают шабаш и пылают в последнем году,
испещренный гигантским мазком музыканта,
влажный корень листа превращает в косую грозу.

Проходя коридорами стойку гидранта,
нам приятно бывает под небом музейных клеток
привлекать взгляд кашеев Рембрандта,
грудь потрогать дикарки полей,

возбуждаться на смерти сухой комиссара,

пошевеливать синим разломом плечей,
потеряться близ стройности ног полусары
с полуадамом, терзающим кисти бровей,

соединять полководца и дамку,
вешать лиру на шею бумажных гусей,
к Кес Ван Донгену плыть за червоною самкой
и от Гриса припрятать квадрат Малышей.

Вот музыки легли на картину мотивы,
позолоченных рам позабылся оскал,
диким зверем завывли рабочие дивы,
доверяя лафету мостов пролетарский вокал.

На Москву холода опустили развёрнутый полюс,
детство вспомнишь свое после дома в раю и в аду,
перепуганный, розовый слышится голос,
самолет обещает тебе: «Я приду!»

Новожены пространство разбили в квадраты фигуры,
обрели себя в воздухе, в миле от зонтиков и палачей,
перед домом моим танцевали костюмоавгуры
и платили за крылья Луне похоронами вербных ночей.

Маяковский в галошах, немного лесбея,
со стены проорёт, пробуждая господ:
«Запад, Юг и Восток по порядку немеют,
мой парад состоялся, так хочет народ!»

1981.

Саламандра

(реквием)

Алие

В Азии три обычая:
голову преступнику отрубают и высушивают в склепах;
будь важным —
отрави важным положением;
тела рубят,
бросают близ храма,
по останкам
елозят голые.

Дитя от соски,
или Пересвет —
все под ножом заржало,
раздражаясь смертью.

По коридору плакала карета,
стада верблюдов вслед,
я ж в перевернутой короне
кулаками с пола вытираю в крови исповедальные кресты.

Мусульманка с коротким лицом,
с луною на груди,
с теплыми, сухими пращами ног,
ты потешишь,
жуя европейскую пружину.

Голос завился в жабе,
тропическим ливнем утопило меня тело,
ноздри спеленуты рекою,
как берега,
или повешенные в ураган.
Смех твой —
летом воронка в реке,
плач — обруч.
Рожденная подо мной,
холодная, как кукла,
или каменная баба с вертикали витрины в степи,
ты, невеста,
кричишь: «Ты — нежный!»
Конь и всадник —
жернова —
перетирают траву в крик.

Соломенный ветер застыл,
обломился у основания;
туча удочеряет степь.
Степь —
черепаха с глазами,
визжит,
скалится синими клыками.
Красная сажа ладони,
намазанная салом заката;
пыль на губах,
на веточках полыни,
зажатых меж губ —
колючих и шевелящихся одна
относительно другой.

Под бежевым облаком

руки твои —
горькие, как хрусталь.

1981.

* * *

Коновальчуку

Морозом пахнет тишина.
Огромный череп старика.
В уют спасения Господня
войду и привалюсь к стене.

Зачем здесь кладбище
и церковь с толстыми дверьми?
Я на последнем кладбище
танцую вальс с Татьяною в те дни.

Смерть распустилась,
к тюльпану жаркими устами
припала, вместе с черными очами
в зеленом трупe пробудилась.

Но будет про цветы,
их грустный тлен
напомнит сердца плен,
когда от тела мы отчуждены.

По улице поеду на машине,
возьму я водки в магазине,
гермафродит где спорит с продавщицей,
которая шагов, ключей его боится.

Старуха толстая вернулась,
кружок коленями замкнула,
ей надлежит, конечно, умереть,
прощаясь, воздуха согреть.

Зачем дома нужны Земле,
зачем чужие закрывают двери,
червивый дьяк поет во сне,
старик целует удивленный зверя.

Все умирают.
Я вместе с ними.

1981.

* * *

Неторопливый город. Облако на небе.
Ряд книжек на салатовой стене.
Читают «Фауста» на третьем этаже.
И может быть в лесу находят Гебу.

Вороны. Церковь. Звуки похорон.
Спокойный красный цвет и снег.
Конь скачет. Падает барон.
И кто-то лобызает след твой ног.

Ты мягкие спускаешь мне качели,
сама купаешь тело в тени Рима —
тут кони голые свернули к колыбели —
ты рассмеялась и играешь нимбом.

В тоске туманных вечеров
я чувствую прохладу зова,
в грядущей суете дворов
бегу к тебе и снова
признанием хочу осмыслить память.

1981.

* * *

Пусть предложили мне вина,
я пить устану, брошу в снег
стакан, и подойдет жена,
не открывая тонких век.

«Да, снова сам и о себе».
Свет грянул снегом в окна.
«Я завтра нужен стану всем,
откроют люди око».

Дикарка спросит: «Где ты жил?»
Я отвечаю: «У тебя».
Она: «И ты кого любил?»
Я говорю: «Себя, себя».

1981.

* * *

Есть девятнадцатая вечность,
безмолвие и равновесие,
и нежная весна, беспечность,
любви высокое поветрие.

1981.

* * *

Такое время – все фигуры в равной краске:
Гомеры в Ленины, а петрашевцы в гомеопаты.

1981.

Ящерка

Ящериц много, велико их число в старом городе,
моей обители – старом городе,
в дупле, в воздухе;
человек-дятел проскреб до сердца, к центру
мощь воздуха;
ствол всех обнимал, прятал после страха,
грозу ствол берег от проклятия.

Ящерица прогрызла ход под дом мой,
в песок ушла жить,
дом красивый, красный, под желтыми облаками
красуется наличниками и кровлей резными.

Ящерица зеленая, на лапках по пяти крючков после пальцев,
под стеклом увеличительным, громадным, страшным
пальчики растут, как овраг.
Человек показывает пальчики чужие (ящерины) сквозь стекло.

Ящерица тело свое прячет в хвост,
потеряла она хвост —
не страшно,
душа ящери хвосту не принадлежит;
пусть человек наступит на ящерику —

человек смышлен,
от того медлен —
не наступить на ящерку.
На хвост стопа встала —
тело пусть бежит в Землю,
ящерка в нору бежит.

Ящерку задушит доктор,
наблюдатель-доктор;
ящерка любит дом,
знает прямые, как спица ходы в Землю;
доктор тело портит присутствием души;
ящерка – это любовь доктора.

Ящерка – доктор.

Ящерка – бурдюк. Воля ящерки темна, сильна,
как ядерный сгусток,
в камень ящерка прячет покой свой, но ищет труд наш;
лебеди пролетают, я вижу и пишу;
ящерка – объект наблюдения,
мир рядом – добр к ящерке;
я отмечаю события мира,
локатор губ повернут на восток,
солнце следит за губами.

Преподаватель – женщина;
сомкнуты губы тщеславием и развратом,
острый подбородок к свету направлен глазом диким.
Женщина – преподаватель к дому идет,
встречает доктора и меня.
Мы—два,
смотрим к ногам своим.
Что? Ноги!
Преподаватель-женщина стучается,
отстает от себя,
спрашивает видь.

Ящерица-саламандра говорит преподавателю-женщине,
женщина-переводчик переводит
наш
язык
к своему
языку;
весело всем нам, входящим в иное время года.

Женщина-преподаватель видит нарушение этикета.
Говорим
мы-два,

что зубы наши зелены, волосы прямы,
дети не родились, огонь – наш рок.
О, весело!
Мы-три
стоим у норы ящери и смотрим.

Ящерица любит песок.
Песок возле дома, возле церкви, всюду.
Ящерица не боится волка.
Мы-раз
в темноте волку не смотрим.
Волк не носит, не играет монетами.
В лес —
там скалы,
в воду —
там воздух.

Взор растят, направляют просящие —
таких ящерица любит.

Ответ женщине-переводчику.
Лесу и скалам лучше, легче,
если Земля рождает идиотов, просящих.

1982.

Вторая молитва поэта

Жёны режут мужей в этом городе кротких проклятий,
удивляюсь себе, почему я корёжусь на сонной земле,
почему продолжаю свой сон продолжения бреда,
почему мне темно и глаза убегают в ночное окно?
И всегда мне светло только в облаке снежном,
и в такси я сажусь, забываю надеть кимоно,
и рублем я последним трясусь на углу опустелом,
и боюсь человека отдать я безликой судьбе;
и становится страшно среди прутьев, веревок и камня,
и не сплю, вспоминаю ночные ступени причала,
и иду по ночных фонарей веществу.
Поседею пускай и уйду в парафиновый снег,
и на утро звонок телефонный и спросят, в душе матерясь:
«О, почём на сегодня, зверьё в зоопарке?»
И могу ли продать я себя для вольера?»
И меня забивают в бездонную дырку
и все дальше и дальше в вонючей трубе,
и еще я не знаю как жить, как работать на хлеб,
если жить разрешается телом и собственной кровью?

И от женщины склеп остается в постели,
словно дряхлые вороны, бродят родители лысые,
почему-то мешают убить и мешают любить.
Запахнувшись постелью, сидишь в уголке,
нелюбимая, ветру чужая,
и не ждешь, отступаешь, боишься.
И не верю опять египтянке последней,
и забираю собственные руки, и ухожу куда-нибудь опять,
и тайну ремесла несу, и удивляю собственные сны,
и болью мозга плачу вместо слез,
и никогда не стану жить как захочу,
и стану петь, когда люблю.

1982.

* * *

Потом я уходил с чужой квартиры,
искал приют в дешевом доме,
устал от женщины без тайны,
и ненавидел всех, кто приходил.

1982.

Оркестр

I.

Кистепёрые звуки
плотные, как плевок верблюда,
засели в приемниках слушателей
допотопных, как звёздные корабли,
стартующие назад к уключине и топору,
который вошёл в тело дирижера,
и с открытием Австралии
взлетел,
освободившись от якоря веса
настойчивого, как стекло,
рванув к небу сети высоты;
и стон короткий,
как «вжиг» смычка по пиле,
настроил скворца-дирижера,
и полетели крыльями стрекозы
пальцы по пульту горбатому,
который, как очкастая кобра,
вставшая в позу угрозы,

когда ее водяной эмоции угрожает расплата
за резкую память к угрозам;
и поколения приходят в движение,
когда изгибается старой кошкой змея
в позвоночнике скорее нарисованном,
нежели осложненном вмешательством движущегося тепловоза —
как любит это делать жизнь,
которая роскошна, как женщина,
в нераскрытых глазах которой
ночь пухлая, как вода,
и текучая, как песок —
ноги той и этой – объятия,
здесь и там нужна ласка
земли и сына земли
мужчины,
который раскрывает глаза перед антрактом
и возвращает сознание
перевернутой колбой в зал,
где пустеют кресла,
как после работы потопы;
и сидит, сидит в русском зале японец
и жует вместе с женой пищу,
короткими шажками
подвигая рис на палочках в рот
маленький, как наволочка,
или размером с утиный крик,
а рис, как капли
или роса на палочках или травинках —
щеткой пасти кита, пропускающей планктон, —
как шаги верблюда, который устал
и бежит комете подобный по скалам,
где-то на экране в тёмном зале,
который так похож на каюту
трансатлантического дирижабля —
и слегка воздушная атмосфера кругом,
как атака пчелы, которая обречена,
но выполняет инстинкт верно и живо,
словно вода из артезианской скважины,
которая может сравниться со звуком гитары,
и при этом кажется, что просыпается гитана —
«и-и-и-й» – кричит ее открывшийся рот —
она спешит и плюет расстояния назад,
подобно возвращающемуся бумерангу —
он плоский и чуть закругленный,
словно рыба в зубах большой рыбы шумит;
так дробь тела любовницы в объятиях,
сошедшегося с ней мужчины,
легка и невероятно обманчива своими требованиями —
так просит бумеранг иной цели,

если он промахнулся и прилетел назад,
так и саранча, понятный свой смысл почуявшая,
так и грифы понимают свою падаль в бурю,
когда сырой,
как туша освежёванного кита,
дождь
слетается подобно фигуркам карусели,
которые хотели сойтись вместе,
и кружились с гримасой вины на мордах
звери, потворствующие карусели,
так наготу вдруг обнаружившие люди,
которые слетели с деревьев в бары
и на площади к своим трибунам —
так совы разыскивают своих мышей —
так и люди сквозь ветви разглядели родники.
Первым рассыпалось сердце,
как сухая халва при малейшем нажатии,
и словно пух разлетелись песни,
составляющие сад сердца,
части которого похожи на кости,
обнаруженного в старой земле животного:
полные его воображаемые конечности сгнили и обновили землю,
про которую мы ранее,
которое было вчера или назавтра,
писали,
что она стара,
как изображенное в берегах озеро,
которое лоснится от натуги пойти рекой,
и тем напоминает кисти на бровях рыси,
которая пугает поэтов
от изголовия их египтянок,
которые с распростертыми на лоне подводных вод ногами
и грудью зарытой в воде —
как извилины мозга,
видимо незаметные.
В подворотню —
хлопая ключами,
как лопатой о мостовую,
с которой необходимо скинуть снег,
который покорен,
пока
как раб тает под ногами —
бредёт гусыней к гнезду шлюха;
и мало кто, кроме самой шлюхи,
знает, что она —
правда;
она открывает рот, когда ест,
и языки пламени,
отраженные от фарфоровых бликов ее пасти,

прыгают,
как через скакалку,
с которой тренируется кенгуру,
обучая детей почти невесомых,
как сгнившая листва;
а рядом,
где ночь пирует на покрывале плотном,
на веселом метровом слое мха —
там ложится во всю длину своей глубины корень сирени
с раскрытыми жабрами,
сквозь которые появляются лица под маской,
которая стоит, как постамент
на перроне в самом углу и ждёт носильщика,
который подойдет шагами лани
по линии гениальной прямой,
вырвет массу веса из поклона Земле,
и встанет толпа,
на коленях живущая,
и рванет солнце из ладоней потных после лопаты,
с лезвия которой еще не упали комья земли цвета подвала
и света в нем.
Если забыть обо всём
или уйти из дома на войну,
где первой жертвой был череп Солнца,
или, если прокрутить рапидом пленку,
когда пленки в кассете много,
как струй в дожде,
то у Луны,
сделав поперечный срез ее скорлупы,
обнаружим пять слоев и разум,
брошенный на произвол судьбы в купель
и проверяемый на выживаемость,
плывущей по поверхности дощечкой,
такой полосатой,
как у кабана шкура —
она вся в шрамах и ссадинах,
которые свидетельствуют об очередном успехе —
первенстве в самой большой стае чёрного леса,
который еще чернее ночью, чем днём.

2.

Растет птенец,
как ветер,
набирающий силу и не думающий о себе,
как не думает музыкант или хороший артист,
который,
проникая в каждую пору и капилляры тела,
вдруг гаснет,
как гаснет внезапно кровь, что хлынула горлом коровы —

и умирает движение струй течения,
навстречу которому попался остов затонувшего корабля,
иллюминаторы уже давно закрыты ровным слоем соли
седой, как свежий алюминий.
Под кругом света,
как под голым лбом мыслителя,
сидят люди,
положив ладони жаркие,
как топки,
на скатерти;
они ещё не отмыли залитые битумом глаза бога Аб-У.
И свистят на манер китов соловьи,
лишённые жаберных щелей,
обречённые,
совсем как белка, убитая в парке на дорожке,
которая как хребет нужна старикам,
которые гуляют в тени деревьев,
вырастающих из медленных мест земли.
Так сугробоподобные люди вынесли на свет жирный свет —
свет света, дивные глаза, зелёные и не зелёные,
и поплыли в облаке нежном,
как земляника или мякоть хурмы,
они.

1982.

* * *

Есть только гения печальное искусство,
и третье ощущение поэзии одной дано —
пять чувств есть наши полюса,
и я тебе, господь, предался именем и чувством.

1983.

Чудачок

Волохову

Сын Данта в ботинках от «Гиганта»
подходит к нам с улыбкою ваганта,
приветствует: «О, демоны, о, маги!»
«О, Волохов, купи продам я краги!»
Он хитро замечает: «Владислав,
ты правнук Велемира, но не пиво,

залитое в телесный автоклав,
мешает нам настроить эту лиру.
Пройдемся мощными ступнями,
прогромыхаем гениальными костями
осенним ипподромов городов.
Я кончу в Риме, склеп уже готов!»
Молчу, по Герцена за ним иду,
на мне Европы каменный жилет,
навстречу негритянский слет,
он обсуждает мрачный геноцид.
Веселые под черной кожей греки
толпятся на лужайке, как бы дети.
Две серые ладони телом дама
мне подает негроидная самка.
Я их трясую и говорю: «Вот – пава,
любимая коричневого мавра».
Мы подошли и пиво, как река,
таким же цветом в Грузии Кура.

1982.

* * *

Неужели в этом городе нет ни одного человека,
который ждал бы меня?
Неужели нет ни одного человека,
который думал бы обо мне?
Может быть на свете нет ничего?
Я одинок и прохожу среди призраков остывших
привычным шагом и завидую себе.
Я прохожу особую школу одиночества:
кто раньше сдаст – я или мир?
Думаю, мир.
Я в колыбели сижу,
мир мне пытается глазки соорудить,
он меня принуждает уверовать только в него,
он заставляет меня принять его жесткие ласки,
он надрывается и хохочет
и заставляет стать юродивыми меня
и мою будущую жену.
Толстый, уродливый, многоногий, красноречивый,
к тебе мир, обращаюсь!
Нет, не хочу принять твоих правил,
хочу жить по своему, хочу себя жить.
Кто сказал и когда, что необходимо принять правила мира,
кто смирился первый?
Я не могу смириться.

Не хочу быть поэтом.
Не могу жить обособленно от остальных!
Я плачу, безумный,
я стою на горе,
смотрю вниз и вдаль —
там море исчезает в ночном небе так, что не понятно, где оно.
За спиной моей Луна в обличие месяца прячется постепенно за
гору,
словно бог какой сидит и, высунув палец, прячет вновь его.
Вот я один, совсем один,
как чистый лист бумаги,
мысли проступают в голове;
я вижу, что освещенный дворик,
единственный светлый на весь город,
напоминает причудливую маску,
которая привалилась к колонне зала,
над маской оплывает последняя свеча,
карнавал окончен,
и я, завоевав поцелуем право посмотреть на пустынный зал,
смотрю и дышу тишиной и безликим небом
и женщиной —
она возле меня и ждет меня.
И я сажусь на землю,
кидаю женщину на колени
и раздеваю её,
и закрываю наши глаза её волосами,
и отпугиваю её смущение,
и перебираю её пальцы,
и глажу губами её тело,
и накрываю её тело своим;
и вот мы в розовой воде,
растворённые в ней,
и дышим водой,
и живём водой;
и теперь я проникаю в глубь моей женщины,
я вытесняю её,
она умирает, вытесняя меня;
мы – в плеске и колыпании,
мы – в сумеречности,
мы – обнажённое дно,
мы – танец хлипких песчинок,
мы – тысячекратный розовый свет,
воплощенный в нас,
мы – прочее, что живёт и двигается в розовой, усталой воде.
В объёме меняющихся вод пробегают водяные сгустки,
наши тела переменяются в размере,
и акт совокупления уже дышит,
но он ещё дитя,
он лишь пробует себя,

и твои руки ещё не рыдают,
и ещё мой член не живет по себе.
И вот молния, чудо, высокая чернота:
ты в тяжёлом предсмертном полёте,
я, нанизанный на позвонки твоих стонов,
не удерживаю в себе тяжести непомерной сердца
и выливаю его сквозь рот и все поры —
и удерживаю твоё губами.
И нет положений тел,
и нет самих их:
сердце и сердце;
и уже телу твоему не приказываю,
а руками леплю пустоту,
и вот уже не за что нам зацепиться,
уже последний крик подходит к губам,
еще поцелуй и всё!
Ещё один поцелуй и мы умрем,
мы не вернёмся!
И я великодушен —
и возвращаю тебя на землю.
А сердца мы слюбим новые.

1982.

Угол комнаты

1.
Я не пойму, что делать,
Где руки приложить,
Тоска мой ум – как келарь —
Заставит прислужить,
Себе и небу драмы
Рисует на листе,
Где чёрной номограммой
Лежит мой крик в тоске,
И белая гитана —
Как ветренная дама —
Сидит на волоске,
Ломается в толпе.
Ещё там черти возле,
Куда уж хороши,
Визжат и пляшут польский
На ладах всей души.
Брожу пока в пустыне,
Брожу без дела я,
Но ветер мой отныне,
И мне его душа.

Я умер для гражданства
И умер для себя,
Но мировые танцы
Пусть радуют тебя.
Ты в маске ходишь милой,
Когда ты ночь моя,
Или пытаешь мима,
Когда жена моя.
И мне забытый холод
Подаришь как-нибудь,
Или: – Ребёнок-голод —
Ты скажешь. – Позабудь,
Но ты рождён слепой,
А я – твой мёртвый друг,
Но хочешь песню спой,
Что я – зелёный луг.

2.
Когда мне нужно пить,
Я подымаю свод,
И звёзд сплошную нить
Я связываю в сеть,
Опутываю мир и вод
Сплошную мощь.
Серебряный Господь
Стоит, и плащ
Его – развитый Богом.
Придуманный убогим —
Рядом человек
Смеётся век,
Презрев успех,
Холодный свет объяв,
Пугается утех.
Ему грозит весло,
Им управлять легко,
Надев в ключину его.
И на корме лежит бедро.
Рука управит хорошо.
Подплыв к толпе,
Пускай оно
Воткнется в дно
Весло.
Усталость! право. Тишина.
На небе средняя Луна.
И жду я в гости праотца
Или сынов своих посла.
Сомнение. Манит постель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.